

Телешов Николай Дмитриевич

Тень счастья

Николай Дмитриевич Телешов

ТЕНЬ СЧАСТЬЯ

I

Молодой человек лет двадцати двух, бледнолицый и скромный, Виктор Васильевич Рыбаков, сидел на высоком табурете за желтой длинноногой конторкой и писал в разграфленной книге цифры, складывая и помножая числа на счетах. Работа требовала внимания и точности, а между тем мысли Рыбакова отвлекались в сторону и было трудно считать не сбиваясь. Он только что получил странную неожиданную записку. Несмотря на то, что записка была неведомо от кого, она беспокоила и дразнила его воображение, мешая думать.

В свободное от занятий время Рыбаков любил играть на рояле и вообще любил музыку, много читал о ней, интересовался теорией и даже пробовал сам писать ноты, но исключительно для себя, никому их не показывая; это доставляло ему большое удовольствие; он забывался, выходил из своего одиночества и чувствовал себя почти счастливым. Никогда он не предполагал, что будет играть публично. Однако это случилось. Два дня тому назад его почти насильно вытащили на эстраду аккомпанировать знакомому певцу в маленьком концерте в пользу соседнего приюта, чтобы заменить обманувшего пианиста; без этого срывался весь концерт. От смущения и робости он чуть не умер при выходе перед публикой, которой и было-то всего человек сто. В числе слушателей были многие из его конторских сослуживцев, и это смущало его всего более. Певец имел успех, а аккомпаниатора едва ли кто, кроме знакомых, даже заметил. Он и сам не обольщался ничем: отработал, выручил из беды устроителей и незаметно ушел - точно ничего и не было. Однако случилось нечто невероятное. Он получил на другой день записку, которую читал и перечитывал, старался забыть и разорвать, но не рвал и не забывал, а вынимал из кармана и вновь и вновь перечитывал.

"Я внимательно следила за вами весь вечер. Почему вы были так печальны? Мне кажется, что вы очень талантливы и очень одиноки. Как мне хотелось бы доставить вам хоть минуту радости. Если б я могла это сделать! Где я могу увидеть вас и когда?.. Если можете, приходите во вторник ровно в шесть вечера к памятнику Гоголя... Я вас увижу и сама подойду к вам. Не думайте дурно обо мне..."

Мне хочется сказать вам только несколько слов. Если не придете, то все-таки не думайте обо мне дурно. Впрочем, таланты не бывают жестоки, и вы меня не осудите, я уверена. До свидания. Ровно в шесть".

Подписи не было никакой. Подумать было не на кого.

Воображение рисовало то одно, то другое лицо, и все это было - не то. Казалось, что это пишет молоденькая ученица в коричневом платье... Но нет! Об одиночестве и о том, что таланты не бывают жестоки, не может писать неопытная девочка. Это, должно быть, старая дева, от скуки бросающаяся на первого встречного... "Мне хотелось бы доставить вам хоть минуту радости..." Нет, это не старая дева!.. Доставить радость?.. Кто может так легко и так

уверенно сказать это о себе?.. И воображение начинало рисовать молодую красавицу, способную действительно доставить радость своим взглядом, пожатием руки, ласковым словом, дружбой... доверием...

Стучали быстро косточки на счетах, мелькали перед глазами колонны цифр, а в душе возникал и выяснялся образ, слагались самые нежные и прекрасные грезы, чистые, одухотворенные, и все они сливались в одно понятие, в одно пленительное слово: "Женщина!"

Чем больше думал Рыбаков о своей незнакомке, чем ближе подходил день и час, когда он ее увидит, тем милее становилась для него жизнь. Ничего еще не случилось; кто "она", какая она - неизвестно, но в ожидание встречи проникла уже радость, и весь мир, казалось, наполнялся для него красотой и светом, как при восходе солнца... И Рыбакову, находившемуся в таком настроении, особенно неприятно было весь день глядеть на своего визави, Синюхина, сидевшего за такой же конторкой, лицом к нему, писавшего такие же цифры, стучавшего так же на счетах. Это был человек лет пятидесяти, с лысой головой, с холодными насмешливыми глазами, с коротко подстриженной седеющей бородой и подстриженными усами - точно давно не бритый. Он говорил всегда мягким и ласковым голосом, всегда с улыбкой, но не было для него ничего святого в жизни и не было человека, над которым бы он явно или тайно не насмеялся. Рыбакову всегда был неприятен этот старик, а теперь особенно противно было встречать или чувствовать на себе его пристальный насмешливый взгляд, идущий куда-то дальше, чем может быть позволено, словно он нащупывает всегда этим взглядом чужую тайну и начинает рыться в чужой душе.

Но никогда Синюхин не был так ненавистен Рыбакову, как именно в этот полный ожидания и радости вторник.

Мартовское солнце каждый день на несколько минут все более задерживалось на небе; дни становились длиннее, и в воздухе чувствовалось приближение весны. Окончив в пять часов занятия в конторе, Рыбаков вышел на улицу.

Времени до шести было слишком много, и он пошел потихоньку по направлению к бульвару, где была назначена встреча, избегая людных улиц, пробираясь тихими переулками. Ему хотелось обдумать, о чем он будет говорить с незнакомкой, но мысли были несвязны; билось только сердце сильнее, чем всегда, и в голову лезло что-то совсем постороннее, ненужное и пустое. Он волновался; ожидание было страшно, но сладко. Так, не замечая ни пути, ни времени, он пришел к памятнику слишком рано. Поглядел на грязный, перемешанный с песком, подтаявший снег, на светлое небо и пошел дальше по бульвару; потом опять вернулся; но было все-таки рано. Тогда он сел на скамью и начал читать, взглядывая то и дело на часы и не понимал того, что читает.

На скамьях сидели какие-то мальчишки, няня с детьми, курьер с портфелем, несколько женщин и стариков - все люди не из тех, которые могли быть ему сейчас интересны.

Когда оставалось только десять минут до условленного часа, Рыбаков опустил газету на колени и стал следить за всеми, кто проходил.

Проходившие мимо были так непохожи на ту, которая должна сейчас появиться. Но вот - прошла какая-то женщина, молодая, с строго красивым лицом, с ясными глазами.. Не она ли?.. Но та прошла и не вернулась... Рыбаков взволнованно глядел ей вслед и совершенно не заметил, как рядом с ним кто-то сел на скамью и развернул газету.

- Вот неожиданность! - раздался знакомый голос. - Здравствуйте, Виктор Васильевич.

И Рыбаков, к ужасу своему, увидел возле себя улыбающееся лицо Синюхина и его жесткие глаза, окруженные золотом очков.

Ему вдруг стало неловко и обидно. Он разозлился и сам ответил вперед, не дожидаясь вопроса:

- Сказал, что в пять будет готово, а теперь, оказывается, только к шести приготовит. Вот и сижу, ожидаю.

- Про что это вы говорите, я не пойму.

- Да портной обманул. Сказал, в пять... А вы тоже по делу сюда?

- Я здешний. Я живу здесь: вон мои два окошка! - указал он куда-то рукою - Каждый вечер прихожу сюда перед обедом газеты читать. Посижу полчаса, да и домой.

Он вынул часы; было начало седьмого. Рыбаков вспыхнул и торопливо достал свои часы; у него показывало шесть.

"Ровно в шесть..." Таким точным указанием заканчивалось письмо. Именно сейчас наступило и течет это драгоценное время... Где "она"? Придет ли? И если придет, то как познакомятся они при этом соседе? Ведь их засмеют потом в конторе! Главное, засмеют ее!.. Она подойдет доверчиво, откуда ей знать, что рядом сидит злейший насмешник... Нет! Необходимо уйти... сейчас же; скорее, пока она еще не пришла.

Руки его стали дрожать. Он быстро встал и поклонился.

- Прощайте, Аким Петрович. Мне уж пора.

- До свидания, до свидания, - ласково закивал ему головой Синюхин и опять уткнулся в газету, а Рыбаков, не зная, что делать, куда деваться, отошел на другой конец площадки и, видя, что гранитная глыба загораживает его от Синюхина, остановился. С большой осторожностью он заглядывал иногда из-за своей засады на Синюхина; тот сидел и спокойно читал; потом встал и тихо пошел через площадь, даже не оглянувшись.

Рыбаков вздохнул свободней. Но было уже ясно, что срок миновал и ждать напрасно. Солнце село. В небе догорала вечерняя заря. В магазинах засветились огни... Все было кончено для Рыбакова. Он медленно опустился на скамью, разочарованный и печальный. Чувство одиночества зашевелилось в душе. Зачем он поверил этому письму?

Кому нужны и интересны его радости и печали?..

Во всем огромном городе у него не было ни одного близкого человека и некуда было идти. Становилось еще печальнее от этой мысли, потому что душа его давно искала другую душу, почти уже нашла ее, и все эти дни он чувствовал, что вот, наконец, он не одинок, что есть кто-то живой и прекрасный, который приближается к нему, подошел и ждет. И было грустно теперь возвращаться домой ни с чем, более одиноким, чем раньше.

Весь следующий день Рыбаков старался не думать о своей неудаче и был рад, что Синюхин ни о чем его не спрашивал, ни о чем не напоминал; очевидно, поверил в портного.

К вечеру того же дня он получил по почте новое письмо.

"Я видела вас вчера у Гоголя и была рада и благодарна вам, что пришли. Но вы были не одни. Вы разговаривали с кем-то в очках, и я подойти не решилась. Шлю вам мой сердечный привет. Если захотите меня видеть, приходите опять туда же в эту пятницу, но только в три часа.

Ровно в три".

После минутной радости от этого письма Рыбаковым овладело уныние: в пятницу в три часа он не может никуда уйти, так как в конторе назначена ревизионной комиссией проверка книг и как раз именно он и Синюхин должны в это самое время давать объяснения. Пренебречь этой обязанностью было совершенно невозможно. Предупредить свою незнакомку было также нельзя. Оставалось единственное: покориться и не ходить.

С тяжелым чувством Рыбаков решился на это и не пошел.

II

Проходили дни за днями. Рыбаков все еще надеялся получить от своей незнакомки новое письмо, но писем не было, и это огорчало его. Он так привык к мысли повстречаться с человеком, который казался ему близким и прекрасным, что потерять его, не найдя, было более чем печально.

Часто во время работы, подводя длинные цифровые итоги, щелкая косточками на счетах, Рыбаков думал о незнакомке и о том, как бы восстановить несостоявшуюся встречу, но все пути к этому были отрезаны, и он мало-помалу начинал успокаиваться.

Однажды, придя утром, Рыбаков нашел у себя на конторке письмо с знакомым почерком и так обрадовался, что лицо его вспыхнуло и заблестели глаза. Это не ускользнуло от внимания Синюхина. Он уставился на Рыбакова своими холодными насмешливыми глазами и проговорил, глядя поверх очков:

- Весточка с родины, надо полагать?

- Нет, - холодно ответил Рыбаков, - счет от портного.

Письмо было длинное, на четырех страницах. Читать его под взглядом Синюхина он не мог. Он волновался, но сдерживал себя и, не читая, сунул в карман. Было трудно высидеть минут двадцать, притворяясь равнодушным, и подсчитывать цифры, однако он высидел, скрывая волнение, и ушел только тогда, когда его вызвали к телефону. Там, в коридоре, оставшись один, он схватил заветную бумажку и, почти задыхаясь от радости, начал читать.

Незнакомка писала, что ждала его в назначенное время и, когда стало ясно, что он не придет, она опечалилась и решила навсегда оставить его в покое. Но вот прошло более недели, и она чувствует, что не может остановиться на этом решении, не попытавшись узнать, как он сам к этому относится. Теперь в его руках это решение. Она просит его написать ей совершенно просто и откровенно, почему он не пришел, не считает ли он ее легкомысленной или дурной и желает ли получить от нее ответ. Всякому его решению она вперед покоряется, и если не получит ответа, то больше уже никогда ничем не потревожит его... Адреса своего она дать не может, а просит написать в почтамт - предъявителю кредитного билета в один рубль за номером 641.

Много раз Рыбаков начинал писать свой ответ, но рвал все это и опять писал. Выходило совершенно не то, что хотелось сказать. То очень сухо, то очень торжественно. Наконец, он решил, что напишет без всяких обдумываний - попросту, напишет лишь то, что подскажет сердце. И оч написал:

"Как я рад был Вашему письму. Как хорошо Вы сделали, что написали. Мне необходимо Вас увидеть. Вы вряд ли можете себе представить, как жду я этого свидания, с каким волнением и с какой радостью. Вы до сих пор не назвали даже Вашего имени. Я не знаю еще, как Вас зовут, но Вы мне уже не чужая. Я сам не понимаю, почему это так; может быть, потому, что я слишком одинок и Вы единственный человек, которому я рад поверить, и чувствую, что встречу такой же отклик. Кто бы Вы ни были, я вперед благословляю тот день, когда мы встретимся.

Это будет счастливый мой день. А я не избалован счастьем... Поймите же, как жду я этой встречи. Умоляю Вас, не откладывайте нашу встречу. Через два дня, в эту пятницу, у Гоголя, ровно в 6 вечера".

За эти два дня Рыбаков так много передумал и перечувствовал, точно прожил несколько лет. Не было минуты, чтобы он не думал о таинственной незнакомке. Он перебирал в памяти все женские имена, гадая, какое из них носит его незнакомка. Что она молода и прекрасна, в этом уже не было никакого сомнения. Вся душа его открывалась навстречу ей, все его мысли неудержимо летели к Невидимке, как он стал называть ее за неимением настоящего имени. Насилу дожидаясь в нетерпении своем до пятницы. Он считал уже, что только часы - три, два, один час - отделяют его от встречи. Как вдруг швейцар подал ему письмо, присланное в контору с нарочным.

"Дорогой друг мой, - прочитал он в записке, и лицо его омрачилось. Только сию минуту я получила ваше письмо.

Спешу предупредить, чтобы вы опять не ждали меня напрасно, что я сегодня ни в коем случае не могу быть. Я напишу вам на днях, когда я свободна. Ваше письмо доставило мне искреннюю радость; я вижу теперь, что мы скоро будем близкими друзьями, да мы и сейчас уже друзья, не правда ли?.. Про себя могу сказать вам пока только, что зовут меня Анной, что мне 21 год и что, если вы возле меня почувствуете себя хоть на минуту счастливым, я буду этим счастлива всю жизнь. Пишите мне чаще, каждый день (почтамт, предьявителю и т. д.), пишите, пока мы, наконец, не встретимся. Знайте, что в день, когда вы мне не напишете, я буду очень грустить. Ваша Анна", И мысли и чувства Рыбакова совершенно запутались.

Досада на кого-то, и печаль, и в то же время буйная радость овладевали душою Виктора Васильевича. Возле него, несомненно, стояло его счастье, улыбалось ему, сияло, а он был точно слепой и не мог увидеть ни сияния, ни улыбки, ни лица счастья. Но не сон ли все это?.. Нет, не сон. Каждый почти день получал он либо письмо, либо коротенькую записку с ответами на свои письма, на свои вопросы, переходившие мало-помалу незаметно для него самого в мольбы о свидании. Но что-то роковое стояло поперек пути и не давало встречи. Оба они посылали друг другу сначала загадочные, потом нежные, потом пламенные слова, оба, точно потерявши рассудок, говорили о любви, о восторгах, о страданиях, мечтали о весне и о солнце, о зеленой роще, о счастье среди природы и без людей.

Рыбаков уже знал, что по утрам, прежде чем проснуться, он повторяет бесчисленно имя своей Невидимки, а потом уже, с именем ее на устах и в сердце, открывает глаза.

И когда засыпает, то последнее, что исчезает из сознания и из памяти, это имя ее...

Он не знал и не отдавал себе отчета, как могло все это случиться. Но было ясно, что он любит и любим...

Кем любим?.. Кого он любит?..

Мучительно жгло все это его мозг. Но воображаемая Невидимка стояла перед ним как живая... Вблизи себя он чувствовал ее лицо, глаза, волосы, улыбку, он слышал ее голос, смех, ее дыхание. Она вся была в нем, точно была частью его души, частью его самого.

Напрасно молил он ее о свидании. Она отвечала почти одно и то же;

"Милый, я не могу сейчас..." Или: "Пойми, что я не могу пока..." Или так: "Милый мой, дорогой мой... прости, что мучу тебя... и себя мучу. Не могу пока... Не обижай подозрением свою Невидимку: ей и самой не легко..." Или:

"Скоро, скоро теперь я увижу тебя, мой милый. Скоро буду обнимать и целовать тебя,

дорогой...", "Подожди немного. Не спрашивай. Все скажу. Все узнаешь. Потерпи. Не мучь ни себя, ни меня..."

Рыбаков терялся в догадках. "Не с ума ли я сошел?" - думал он иногда. Но получаемые письма были действительностью, а написанные там слова дышали такой любовью, такой нежностью, что перед ним возникал пленительный образ, и воображаемая Невидимка становилась живой, родной и любимой, без которой не мыслилась дальнейшая жизнь. И Рыбаков примирялся с таинственной невозможностью встречи и жадно ожидал дня, когда кончатся эти злые чары, спадут эти цепи и откроется лицо счастья. И час этот близок - твердо верил он и ждал его с благоговением. Он весь был переполнен ожиданием счастья.

Но счастье, как гость дорогой и желанный, приходит редко и ненадолго. Он не забывал этого. Пусть ненадолго; хоть на минуту, но пусть придет! мечтал он о близком будущем, в которое верил, а перед глазами, перед душой возникал тот же пленительный образ, что был с ним теперь почти неразлучен. Все мысли бросались навстречу этому образу, восторгом переполнялось сердце, и в душе его и вокруг него все точно пело и восклицало:

"Анна!.. Анна!.."

Случилось, что служащие конторы устраивали опять небольшой концерт и на этот раз позвали Рыбакова уже как испытанного музыканта аккомпанировать тому же певцу, с которым он выступал впервые случайно, Рыбаков согласился.

За два дня до концерта он был у певца, и они прорепетировали несколько романсов.

- А это вы знаете? - спросил певец, раскрывая перед Рыбаковым ноты. - Я на эту вещь очень надеюсь: Шуберта "Смерть и молодая девушка". Давайте попробуем.

Рыбаков начал. С первых же слов певца он почувствовал, что душой его овладевает тревога. Ему почему-то представилось, что молодая девушка, отгоняющая от себя смерть, и есть не кто иная, как его Невидимка.

"Исчезни, призрак мрачный... - красиво звучал голос певца. - Я молода, мне рано умирать..."

С возрастающей тревогой продолжал он ударять по клавишам и слышал, как за спиной у него вступает спокойный голос Смерти, почти ласковый, но полный неотразимого решения:

"Дай руку мне, прелестное дитя. Я друг твой, ты меня не бойся. Прижмись ко мне..."

Даже пальцы его холодели от волнения. Никогда до сих пор он не мог ясно представить себе Невидимку, а теперь он видел ее перед собой как живую. Видел, как закрывает она, точно в дремоте, свои прекрасные утомленные глаза, как доверчиво склоняет русую головку на плечо другой - черноволосой женщины, тоже молодой и тоже прекрасной, но невыразимо печальной и та заботливо и с любовью принимает ее в объятия, но не руками, а серыми высокими крыльями вместо рук...

Всю ночь и весь следующий день Рыбаков был под впечатлением этого голоса, этого видения. Он написал горячий призыв своей Невидимке, умоляя ее прийти хотя бы в концерт, но ответ ее оставался прежним: "Милый мой... не могу..."

Что под влиянием музыки представилось ему так ясно, так неожиданно, то сопровождало его теперь повсюду.

Перед ним были две: прекрасная молодая девушка, у которой закрываются в изнеможении глаза и голова склоняется на плечо к другой женщине, и та, и другая с бесшумными крыльями, - тоже прекрасная. Обе такие разные, они были как будто одно и то же существо: обе были - его Невидимкой. Слово "смерть", всегда неприятное ему, перестало быть

неприятным и страшным.

В ночь перед концертом он даже видел во сне, как в комнату к нему вошла молодая женщина с серыми крыльями, печальная и красивая, и сказала ему, беря за руку:

"Пойдем!" - И он доверчиво склонил голову ей на грудь, называл ее ласково и восторженно Анной, а та окутала его крыльями и нежно поцеловала долгим поцелуем.

- Анна! - воскликнул он, задыхаясь от счастья, и с этим именем на устах проснулся.

Была середина ночи. В комнате было темно; невольно подумалось: как в могиле. И все-таки не было страшно.

Весь день это впечатление и музыкальный мотив Смерти не покидали Рыбакова. Так и в концерт он приехал, повторяя невольно: "Я друг твой, ты меня не бойся..."

Публики было хотя немного, но в маленьком помещении казалось, что пришел сюда весь город, - так было тесно; сидели, стояли, залезли даже на подоконники.

Артистов принимали дружно и шумно. Все выступали с успехом, играли и пели помногу и с удовольствием. Среди зрителей преобладали знакомые; было много и своих, конторских. Во втором ряду посредине сидел Синюхин и так же, как в конторе, глядел в упор на Рыбакова, когда тот вышел к роялю; так же сверкали стекла его очков и так же, как всегда, усмешка не сходила с его лица. Рыбакову достаточно надоело каждый день видеть перед собой это лицо, этот взгляд и, главное, усмешку; он отвел глаза в сторону, так и не взглянул после этого ни разу на Синюхина, в чем потом очень раскаивался.

По окончании концерта, когда публика расходилась, Синюхин сам подошел к Рыбакову. Улыбаясь, он пожимал ему руку и поздравлял с успехом.

- Успех принадлежит артистам, - холодно ответил Рыбаков, - а мое дело работа.

- Не только успех, - настаивал на своем Синюхин, сверкая перед ним очками, - но и прямая победа. Победа! - многозначительно повторил он и даже ткнул его указательным пальцем в грудь.

Рыбаков насторожился. От этих слов у него почему-то сильнее забилося сердце.

- Позади меня сидела дамочка, - добавил Синюхин. - Да такая, что я с удовольствием повернул бы свой стул и стал бы глядеть на нее, а не на сцену. Если б вы только слышали, что она про вас говорила... Что вы талантливей всех этих певцов и музыкантов; сколько у вас души; почему вы не выступаете солистом. Напрасно вы в нашу сторону ни разу не взглянули.

А Рыбаков в это время думал: "Это она... Она была здесь... Я мог бы ее увидеть..."

- Я сидел впереди и невольно все слышал. Говорила с дрожью в голосе, с восторгом. Вот вы какой у нас, Виктор Васильевич. По вас красавицы с ума сходят.

Он ласково похлопал его по плечу, потом с усмешкой добавил:

- До того договорилась бедняжка, что под конец муж ее даже обиделся и увез ее после первого отделения домой.

- Муж? - еле слышно повторил Рыбаков, бледнея от этой мысли.

Но Синюхин, не обращая на него больше внимания и не глядя на него, сказал:

- Ну, пока! - и пошел к выходу, оставив Рыбакова наедине с новыми впечатлениями.

А в половине следующего дня на конторке Рыбакова лежало письмо, написанное знакомым дорогим почерком:

"Милый мой!.. Вчера я видела и слышала тебя. Еще больше тебя люблю. Вся твоя! Анна".

У Рыбакова голова кружилась. Впервые при получении письма он не почувствовал себя радостным и счастливым, как до сих пор, а глубоко несчастным. Лицо его было бледно. Сердце ныло тоской. Ему казалось, что человеку долго находиться возле самого счастья нельзя безнаказанно: нужно схватить это счастье и завладеть, иначе оно будет праздно гореть и опалит и ослепит своим праздным светом того безумца, который и не берет его и не бежит сам от него прочь.

После долгих колебаний Рыбаков написал своей Невидимке решительное письмо. Он говорил ей о том, что совершенно измучен, что хочет знать правду, как бы она ни была жестока, что жить так, как сейчас, он больше не может. Почему она не приходит к нему? Если правда, что она его хоть немного любит, то придет во что бы то ни стало завтра же вечером, хотя бы на одну минуту. Он умоляет ее об этом, заклинает ее всем для нее святым и дорогим выполнить эту единственную просьбу, без чего жизнь становится ему невыносимой.

"Дорогая моя! Желанная!" - так заканчивалось его письмо. Это был голос его сердца, и ответ на письмо был для него ударом.

Она писала, что сама не может далее скрывать от него правды. К ней вернулся муж. Правда, он не долго пробудет, но сейчас он не оставляет ее одну, он постоянно с нею, так что ей не легко даже получать и посылать письма. Она сама страдает от этого... Особенно ей тяжелы его ласки...

От этих последних слов Рыбаков почувствовал острую боль, и ему показалось даже, что он вдруг ослабел и пошатнулся, точно его ранили ножом. Он сел, опустил на колени руки с письмом и видел, как белый листок бумаги дрожал в его пальцах; потом письмо выпало из рук и упало на пол. Он равнодушно поднял его и долго сидел и гладил себе лоб рукою, ни о чем не думая.

III

Прошло более недели. Писем от Анны не было никаких. Рыбаков писал и не получал ответа. Он не знал, чем объяснить все это, и так заскучал, что настроение его стало невыгодно отражаться на работе. В цифрах бывали ошибки, дело пошло медленно и нестройно. Даже Синюхин сделал ему однажды дружеское замечание, но и это не помогло. Рыбаков ответил, что чувствует себя нездоровым и вскоре оставит службу.

- Чем же рассчитываете заняться?

- Поступлю в консерваторию. А там видно будет.

- Успех кружит голову, это верно, - сказал на это задумчиво Синюхин. Только я бы не советовал увлекаться мечтой. Место потеряете, а выйдет ли из вас артист, это неизвестно.

Он хотел что-то еще добавить, но передумал и отошел от Рыбакова. Он направился в комнату, где одиноко сидела и стучала на пишущей машинке Зоя Егоровна, легкомысленная вдова с грубым некрасивым лицом, с пышными волосами соломенного цвета, отравленными ради кокетства перекисью водорода; она носила прозрачные кофточки с короткими рукавами и сильно открытой шеей, предполагая, что все мужчины должны были рано или поздно в нее влюбиться, и была на все руки первой затейницей и хохотуньей.

- Ну, Зоя Егоровна, - сказал ей Синюхин, входя и затворяя за собой дверь. - Наш Гамлет



неисправим: в консерваторию поступает.

- Это зачем?

- Жаждет славы. Должно быть, для дамы сердца.

Та весело рассмеялась и, обернувшись, сняла позади себя со спинки стула кожаную сумочку, порылась в ней, вытащила сначала носовой платок, потом карманное зеркальце и крошечную пудреницу с лапкой, потом три почтовых конверта с надорванными краями.

- А у меня целых три! - похвалилась она, со смехом потрясая письмами. Сегодня заходила в почтамт - и вот результаты.

Синюхин взял из ее руки письма и, не собираясь читать, лениво спросил:

- Опять, вероятно то же и то же?.. Исписался, голубчик.

- Да. Нового ничего. Исписался.

- Так не пора ли в архив? - неожиданно предложил Синюхин.

Он поправил очки. Прежняя, всегдашняя усмешка опять выступила у него на лице.

- Ну его совсем! У него мать была сумасшедшая. Да и он, того гляди, попадет в больницу. Давайте напишем прощальное письмо: уезжаю, мол, за границу; не поминайте лихом. Тем дело и кончится.

Зоя Егоровна покачала головой.

- Нет! Это не годится, - сказала она серьезно.

И вдруг опять захохотала. - Надо ее уморить... Непременно!

Синюхин пожал плечами.

- По правде сказать, мне надоело выдумывать... Пожалуй, уморите ее, как это делается в хороших романах.

Мне все равно.

Оба они рассмеялись.

- Если согласны, у меня уж и проект готов, - предложила Зоя Егоровна. Мне самой стало скучно продолжать эту однообразную канитель. Я придумала эффектный конец.

Она опять достала из сумочки сложенный лист и протянула Синюхи ну:

- Прочитайте.

Тот стал читать вслух, но почти шепотом:

- "М. Г, Выполняя последнюю волю бедной подруги моей, Анны, возвращаю все ваши письма. Она оставила вам сердечное пожелание быть счастливым. Проболел двое суток, бедная Анна скончалась и увезена мужем на родину для погребения. Более ничего сказать вам о ней не могу.

Прилагаю также кредитный рубль No 641: без него вы не могли бы получить на почте не взятые Анной ваши последние письма".

Синюхин усмехнулся и утвердительно кивнул головой.

- Вы правы, - сказал он. - Это конец - окончательный. Дальше идти уже некуда. И в консерваторию незачем будет поступать. Удивлять талантом после этого конца - некого.

Зоя Егоровна весело смеялась.

- Так и знала, что вы одобрите.

Потом добавила, рассматривая мимолетно свой нос, и губы, и глаза в карманное зеркальце:

- За границей любят подобные мистификации. Переписываются с неизвестными, часто даже по газетным публикациям. У них все это живо и весело. Превосходный народ!

На следующий день, когда Рыбаков пришел на службу и стал за свою конторку, он увидел пред собой толстый пакет, перевязанный крест-накрест бечевкой и запечатанный сургучом; возле пакета лежало письмо в узком сиреневом конверте, очевидно от женщины; почерк был совершенно незнакомый.

Синюхин сидел уже на своем месте; возле него с папкой и с бумагами стояла Зоя Егоровна и еще один из молодых служащих, с которым Рыбаков не дружил. Все трое разговаривали о каких-то делах.

Виктор Васильевич поздоровался с ними и, не садясь на табуретку, стал разглядывать сначала письмо, потом сверток. Что-то удерживало его разорвать конверт. Ему вспомнилось, как еще недавно на этом же месте он находил иные письма, которые узнавал не только по почерку; ему само сердце подсказывало еще издали, что его ждут здесь дорогие строчил... И теперь, не видя, перед собой тою письма, которого жаждал он всей душой, Рыбаков, точно назло кому-го, не интересовался полученным и, сам не зная почему, нисколько не торопился узнать ни содержание сиреневого письма, ни содержание пакета.

Сунул сверток в карман, где лежал носовой платок, а конверт положил рядом с папиросницей, возле самого сердца. И долго в него, в этот конверт, билось и стучало сердце, как будто угадывая, что там есть нечто именно для него. Рыбаков раскрыл свою большую конторскую книгу и начал равнодушно набрасывать на счетах косточки.

Никто не был свидетелем того момента, когда Рыбаков вынул письмо из кармана и прочитал о смерти Невидимки. Он сам не помнил, как и где это вышло. Ему показалось сначала, что он ошибся и не так понял. Перечитал еще раз и задумался. Ни особой тревоги, ни боли в душе он не почувствовал; даже как будто не удивился.

Перед глазами возникла на секунду серая фигура с крыльями, с прекрасным печальным лицом - и растаяла... Не говоря никому ни слова, он пошел домой. Ему все время казалось, что идет он по воздуху, чуть выше камней, точно летит над дорогой. Пришел домой и сейчас же понял, что пришел не сюда: здесь ему делать нечего. И отправился к памятнику Гоголю, но и там нечего было делать. День стоял солнечный, тихий, молодая листва на деревьях хорошо пахла свежестью. Рыбаков шел, любясь голубым небом и зелеными липами на бульварах. Все было прекрасно, и только одно его смущало: некуда было деваться; везде он чувствовал себя лишним.

Долго шел он так - и оказался в Сокольниках, среди длинных просек с громадными соснами в чаще. Ноги его уже устали; он сел на скамейку, но мимо прогуливались какие-то люди, и это его тревожило: он был лишний среди них. И он ушел в густую чащу, где никого не было, только стояли сосны, жившие лет по сто, да кусты, да трава. Стрекотали вокруг кузнечики, пролетали легкие бабочки, и пели хоры птиц.

В глубине леса он заметил большое упавшее дерево, подошел и сел на него. Здесь он впервые за целый день свободно вздохнул и начал собираться с мыслями. Вынул опять письмо и долго читал его, потом вынул связку своих писем, развернул их - и сразу воспоминания и чувства хлынули на него потоком. Силы не выдержали. Он припал головой к дереву, обнял его и зарыдал, как ребенок.

#### IV

Зоя Егоровна, как ни была занята своими завитками, пудрой и оголенной шейкой, первая почувствовала, что с Рыбаковым они поступили "не так и чересчур". "Ведь он еще почти мальчик, - думалось ей теперь, - и не такая натура, в душе он артист, стало быть, фантазер, ну и не понимает шуток; к тому же мать, оказывается, была ненормальная; возможна наследственность, повышенная нервозность..." И она мысленно решила, что зимой непременно уговорит его поехать в маскарад, где самое интересное в том и состоит, чтобы кого-нибудь заинтриговать, запутать, а потом весело хохотать над этим, без всякого зла; это большое и сильное удовольствие, и он сам, когда испытает, поймет это и оценит. Ей все-таки очень нравилось, что Рыбаков так просто, так искренне и так нелепо пошел на удочку. Какой он в сущности милый! И какое дитя!.. Ей было жаль, что он теперь, видимо, страдает... "Ах, какой глупенький!" - думала она и смеялась и в тоже время восхищалась Рыбаковым:

- Какой он все-таки милый!..

А Рыбаков замкнулся в себе самом и точно онемел.

Приходил на службу, занимался усердно и молча своими вычислениями и уходил, избегая встреч и бесед. Все свободное время отдавал он музыке или удалялся в лес; голос Смерти сопровождал его повсюду.

"Дай руку мне... Я друг твой, ты меня не бойся", - звучало в его мозгу, и он не отгонял от себя мотив и слова; напротив - вслушивался в них, вспоминал и любовался.

"Прижмись ко мне и сладким сном в моих объятиях успокойся", - подпевал нередко он вслух, хотя голоса у него не было, а петь ему хотелось, и именно это. Серые могучие крылья рисовались его воображению, вспоминалось строгое прекрасное лицо, полное невыразимой печали, и долгий-долгий поцелуй, который он ощутил тогда во сне, когда увидел ее... Она была и Анной и Смертью в одно и то же время. Он опустил тогда свою голову ей на грудь и в объятиях ее, крепко охваченный крыльями, вдруг проснулся - от счастья...

Да, был кто-то на свете, кто его любил. А теперь нет того, кто любил его. В этом вся печаль. У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает... Мечта не сбылась, призрак рассеялся, гений улетел, а жажда счастья осталась. Но все-таки жил на свете, все-таки был человек, который любил его, и ласкал, и ожидал его нежно В этом и было счастье. "Конечно, было счастье!" - так думал Рыбаков, бродя после службы по рощам до позднего вечера, сидя на пнях, ложась на траву или прислушиваясь к тихой песне ручья. Он мысленно благословлял Анну за ее ласку, за дружбу, за то счастье, которое тенью скользнуло мимо него. Но и тень счастья не всякому дается видеть.

- Милая, милая Анна!

Однажды среди дня, когда во время завтрака контора затихла и опустела, Зоя Егоровна позвала к себе в комнату сначала Синюхина, которому призналась, что не может дальше таить правду, а потом позвала и Рыбакова:

- На одну минутку, по личному делу.

Тот молча вошел.

- Милый Виктор Васильевич, - начала она улыбаясь, стесняясь и не зная, как передать самую суть. И вдруг, точно бросилась с башни, сразу все открыла ему, в двух словах.

А Синюхин к этому добавил спокойно:

- Мы не имели в виду вас обидеть.

В ответ Рыбаков только закрыл себе рукою глаза и еле внятно прошептал:

- Зачем вы мне это сказали?..

Потом он вдруг весь побелел, и только красное пятно выступило на одной щеке. Глаза загорелись. Он изо всей силы ударил по столу кулаком и закричал:

- Зачем вы мне это сказали!

Перед ним все точно рушилось, падало, лопалось, пропадало. Все вдруг разлетелось вдребезги, разнеслось вихрем. Ничего не было перед ним теперь. Только Зоя Егоровна да Синюхин глядели на него молча и беспокойно.

- Зачем вы мне это сказали! - крикнул он еще раз.

Бранное слово, готовое сорваться, замерло на языке.

Он отвернулся от них и ушел.

Дома он вынул из стола свою нескораемую шкатулку, взял оттуда деньги и письма Невидимки, потом затопил печку. Дров не было, и он развел огонь первой попавшейся книгой; ему уже ничего не было жалко.

Письма, которым так недавно он радовался, которые так недавно целовал, полетели скомканные в пламя, вспыхнули там и зашевелились, точно раненные смертельно, точно из них, как из живого тела, улетала чья-то душа... Потом взял тросточку и постучал по ним. Черные легкие хлопья взвились и полетели в трубу.

Так же мало-помалу он сжег и свои письма; бросил в огонь, наконец, и кредитный рубль, служивший печальным посредником.

- Ну вот и все, - подумал он вслух и еще раз громко повторил: - Вот и все.

А когда наступил вечер, когда в ресторанах заиграла музыка, Рыбаков взял извозчика и подъехал к тому ресторану, где однажды за ужином он слышал очень хорошего скрипача. Скрипач этот и сейчас был на эстраде, одетый, как и другие музыканты, в ярко-красный пиджак с золочеными пуговицами, в белую, блестяще накрахмаленную сорочку, открытый черный жилет и черный галстук. Он стоял впереди всех на эстраде, лицом к публике, и то играл вместе с другими товарищами, то вдруг снимал с плеча свою скрипку и, взмахивая в воздухе смычком, начинал дирижировать, а потом опять играл, как раньше.

Играли что-то шумное и незнакомое В зале горели огромные люстры, опутанные хрустальными нитями и подвесками, все сверкало, и блестело, и отражалось в стенных зеркалах. Рыбаков сел в углу за небольшой столик и спросил кофе; есть ему не хотелось, хотя он еще не обедал. Потом он подозвал официанта и заказал шампанского. Приборы велел поставить на двоих, так как ожидает даму. Потом вынул деньги и сдачу велел подать по окончании.

Вино он налил в оба бокала: с непривычки пить, после первых же глотков ему приятно и легко закружило голову. А музыка играла, огни горели; дирижер в красной куртке, подложив на

плечо под скрипку носовой платок, играл что-то элегическое, трогательное и красивое; голосом сердца звучали струны. Было печально, что второй бокал, в котором искрится душистое золотое вино, стоит перед пустым прибором и пустым стулом. Ведь сюда же никто не придет; никто не сядет. Никакой гостьи нет и не будет. Был раньше хоть призрак, но и тот померк и погиб.

Рыбаков долго сидел и слушал музыку. Под нее хорошо было думать, вспоминать и уноситься мыслями точно в иной мир. Как прекрасна могла бы быть жизнь, и как она тяжела и пуста. Как счастливы были бы люди, и как они жалки и низки. Вот молодая душа его открылась было для радостей, но радость прошла мимо - осмеянная.

Счастье пронеслось тенью над головой, и в душе его стало пусто и черно, а сам он после обманутых ожиданий сделался мрачен и одинок - более чем когда бы то ни было.

Он ждал к себе гостью, дорогую и желанную, - Любовь. Но она не пришла. Пускай же придет иная гостья - с серыми крыльями. Пусть придет и сядет рядом; она ведь друг, ее не надо бояться; она принесет и подарит свое холодное счастье; она успокоит навеки.

Среди всего окружающего блеска и роскоши, вина, веселья и говора чужих людей как странно звучит скрипка, точно родная... Как властно она приковывает внимание, как заразительно тоскует и плачет... О чем?

О чем же, как не о мечтах несбывшихся, о непришедшем счастье, об одиночестве... Как хорошо она плачет!

Мучительная тоска обвилась змеей вокруг сердца. Рыбаков поднял бокал и, глядя туда, где стоял перед ним пустой стул, отхлебнул вина и мысленно проговорил:

"Прощай, мой светлый, мой прекрасный призрак!"

Потом поглядел на людей, незнакомых и безучастных, и опять подумал: "Неужели я не вправе причинить им всем маленькую неприятность?"

Он допил бокал, вслушался еще раз в то, о чем тосковала скрипка, и согнулся над столом, почти лег на левую руку, а правой рукой отыскал свое сердце и прижал к нему что-то твердое и холодное, тайно вынутое из кармана.

Вот - один миг, и все будет кончено... Весь этот блестящий зал с его люстрами, огнями и чужими людьми вдруг сожмется в комочек, и все мгновенно померкнет.

Ни одиночества, ни обид, ни желаний - ничего не станет.

Красавица с серыми крыльями примет его в свои холодные объятия и успокоит навеки...

В это время оркестр вдруг замолк. Рыбаков отнял руку от сердца и выпрямился за столом, а таинственный предмет спешно убрал в карман. Он недоуменно глядел на уходящих с эстрады музыкантов, видел их красные пиджаки, белые сорочки с черными галстуками, но, казалось, не понимал происшедшего: мысли его были не здесь.

Что-то звуковое нарушило его душевное настроение, что-то зрительное еще не доходило до сознания. Но это были лишь секунды.

Он глубоко и тяжело вздохнул, точно после мучительной ноши, которая свалилась с плеч, подпер рукой обессиленную голову и не сразу пришел в себя.

"Что со мной?" - было его первою мыслью.

Его рука дрожала, когда он поднимал бокал, чтоб промочить пересохшее горло. Бокал был тот, что налит был для гостя. Он не заметил этого, отхлебнул и огляделся, чувствуя себя точно после глубокого обморока вновь ожившим.

Только тогда собрался он с мыслями и задумался. Человеку, дошедшему до той границы, до которой дошел Рыбаков минутой назад, есть о чем подумать. Он понял ясно, что с прежней жизнью окончен расчет и что с этой минуты началась для него новая, иная жизнь.

Теперь, после всего пережитого, Рыбаковым овладела радость существования. Ему казалось, что в душе его звучат какие-то гимны, какие-то песнопения, но они были неуловимы и только чудились ему звучащими, как струны.

В контору он больше не пошел ни разу; написал письмо, что болен и служить далее не может, а заработок просил прислать ему по почте. Лето было в разгаре, погода стояла прекрасная, и он предпочел целыми днями бродить среди зелени в пригородных рощах, среди полевых цветов и душистой земляники, прислушиваясь то к журчанью лесного ручья, то к шуму листвы, колеблемой теплым ветром, или в просторе полей к песне жаворонка, невидимого в небе в лучах солнца. Все эти звуки сливались для него в одно радостное целое, а старые прошлогодние сучья, потрескивавшие под ногами в сырых оврагах с их грибным запахом, бессильно напоминали о чем-то темном, миновавшем и позабытом.

Когда в конторе стало известно об его отказе от службы, Синюхин подошел к Зое Егоровне и сказал, пожимая плечами и недоуменно жестикулируя рукой:

- За границей мистификации проходят гладко и очень весело. А с нашими дураками и пошутить нельзя... Дикари!!

- Нехорошо, что мать-то у него была сумасшедшая, - ответила Зоя Егоровна. - Как бы по ее стопам не пошел.

- Ну, к этому мы с вами ни в какой мере не причастны.

- А вдруг он, в самом деле, в консерваторию поступит? А потом знаменитостью делается? На нас тогда и не взглянет.

- Вместо консерватории-то не попал бы в дом сумасшедших. На это больше похоже.

- Все талантливые люди, говорят, немножко сумасшедшие либо уроды. А вдруг он на самом деле талант?

Ей становилось досадно, что Рыбаков не зашел даже проститься с нею, и если станет артистом, то, конечно, уж не будет даже здороваться при встрече, а это задевало ее самолюбие.

- Мне почему-то верится, что из него выйдет артист.

И скоро.

А Рыбаков действительно будто переродился. Мир стал для него полон звуков, мелодий, настроений. Бродил ли он по рощам и лугам, лежал ли в траве под тенью деревьев, плавал ли в лодке по озеру, ему чудилась везде музыка; печаль сменялась радостью, а радость печалью.

Иногда по целым часам он сидел за роялем, увлекаясь и забываясь; музыкальные импровизации были отзвуками его теперешнего душевного состояния; тень счастья витала над ним. Нередко он брал нотную бумагу и заносил свои настроения. Сначала это были отрывки без связи между собой, но мало-помалу он привел их в стройный вид, потом много

работал над ними и, наконец, озаглавил:

"Тень счастья" - музыкальная фантазия. В нее он вложил все свои переживания последнего времени, все огорчения, увлечения, обиды, надежды. Но то, что получилось, не удовлетворяло его. Хотелось, чтобы звучала скрипка, как тогда в ресторане, где он чуть не погиб. И он вновь принялся с увлечением за работу. Он написал новую вещь, еще более близкую его душе, более короткую, но более сильную - для скрипки, и тоже назвал ее: "Тень счастья".

Однажды в сквере Большого театра он встретил старика Явера, бывшего своего учителя музыки во времена отрочества. Тот сидел на скамье и мечтательно глядел на колоннаду театра, в котором прослужил целую жизнь оркестрантом.

Рыбаков обрадовался встрече, подошел, напомнил о себе и разговорился. Явер был уже сильно стар, с белой как снег бородкой и лысой головой, на которой оставалась только позади, возле шеи, полоска редких седых, но вьющихся волос: только глаза, все еще черные и большие, не потеряли жизни. Не без смущения Рыбаков рассказал ему о своей работе.

- Принесите. Давайте посмотрим, - сказал ему Марк Наумович.

На другой же день он читал принесенные ноты, кивал в такт головой и иногда чуть слышно пробовал голосом уяснить себе какое-нибудь сомнительное место.

- Ну что ж, - сказал он, окончив чтение. - Есть ошибки, погрешности. Надо их исправить. А в общем, кажется, недурно. Оставьте тетрадь и заходите на будущей неделе.

Поговорим.

Обрадованный и польщенный, Рыбаков просиял.

Через неделю он вновь пришел к Яверу.

- Сами вы играли ли вашу вещь? - спросил старик. - Нет? А другой кто-нибудь играл ее вам? Тоже нет? И вы не слышали, что написали? Ну, так садитесь и слушайте.

Мы вам ее исполним. Садитесь.

Он открыл клавиатуру рояля, разложил ноты и достал из футляра свою скрипку.

- Рашель! - громко проговорил он, отворив дверь в другую комнату. - Иди играть.

- Внучка моя - Рашель. Познакомьтесь.

Вошла девушка, совсем юная, черноглазая, хорошенькая, с ласковой улыбкой. Она просто поздоровалась с Рыбаковым и сейчас же села за рояль, без всяких предисловий. Марк Наумович постучал пальцем по одной клавише, попробовал струну, подтянул ее и стал з позу, У Рыбакова замерло сердце.

Началось.

Он ушам своим не верил, слыша, как звучит рояль, как поют струны скрипки. Казалось, что не он написал это, а кто-то другой. Но как все близко, родственно, как знакомо! Одиночество, жажда друга, тоска по радости - все, что змеей сосало его сердце, - все здесь звучало сейчас, и как звучало! Никогда он не чувствовал себя таким счастливым, как в эти минуты. Вот - слышит он - отживает его тоска, уже струны запели о приближении друга, и увлечение, и любовь хлынули потоком, а счастье чистою голубицей кружит над его головой, выбирая место, куда слететь.

И вдруг опять тучи и мрак; все рушится, торжествует злоба людская, глупый смех и обман; опять тоска, обида, отчаяние и призыв смерти.

Рыбаков, как чужой, сидел и слушал все это о чьих-то горестях и печалях, но встрепенулся и ожил, когда зазвучала опять радость. Эта радость росла с каждой секундой, жизнь торжествовала над смертью, будущее побеждало прошлое. Радость лилась потоком, широким и бурным.

- Ну что? - спросил Марк Наумович, кладя по окончании пьесы смычок и скрипку на рояль.

Рашель тоже вопросительно и с улыбкой глядела на Рыбакова.

Тот не знал, что ответить. Ему хотелось броситься обнимать их обоих.

- Вы доставили мне такие счастливые минуты, каких я не помню в жизни! восторженно сказал Рыбаков, кладя руку на сильно бившееся сердце. Благодарю вас! Благодарю!

Явер добродушно потрепал его по плечу.

- Сам был когда-то молод, - говорил он Рыбакову. - Сам пробивал себе дорогу. Хотел бы и вам помочь, молодой друг мой. И помогу чем в силах. Кое-что я поправил у вас. Там были ошибки. Теперь их нет. Но, конечно, я должен оговориться: работа все же несколько дилетантская. Надо работать, и серьезно работать. А способности есть у вас. Не огорчайтесь моими словами о дилетантстве, это не порок. Ведь вы же еще не учились.

Рыбаков возвратился домой, очарованный и стариком и внучкой, взволнованный и счастливый. Он долго не мог расстаться с тетрадью нот, все перелистывал ее, глядел на сделанные поправки и мысленно повторял дорогие ему слова Марка Наумовича: "Мой друг молодой..."

Недавние огорчения и обиды теперь казались ему ничтожными. Хорошо, что он не поддался их влиянию, а то лежал бы теперь с пробитым сердцем в могиле. Ему даже стало казаться, что, не будь этих обид и огорчений, он не так бы ценил и тот новый путь, на который толкнули его эти огорчения. Они сослужили ему хорошую службу: не будь их, он не написал бы "Тени счастья" и никогда не поступил бы в консерваторию или в филармонию, куда твердо решил поступить во что бы то ни стало нынешней же осенью и работать по композиции... Не узнал бы также никогда и очаровательной внучки такого чудеснейшего человека, как Марк Наумович.

В больших ресторанах Москвы, где по вечерам играли струнные оркестры, была одно время мода на музыкальные новинки, лирические по преимуществу. Весь зимний сезон особым успехом пользовалась "Тень счастья", которую публика всегда просила играть и обычно провожала громкими аплодисментами. Нравилась красивая задумчивая грусть в начале и бурная радость в конце, доходящая до восторга, до гимна жизни и счастью. На вопросы, чья это вещь, музыканты отвечали то немного, что знали сами.

- Автор - какой-то Рашель, человек еще молодой и, очевидно, с будущим.

Рыбаков тщательно скрывал свое авторство. Он весь отдался работе в филармонии и не хотел афишировать свое "дилетантское" произведение, которое втайне сам очень любил и высоко ценил.

В семье Яверов он стал не только "молодым другом", но и совершенно своим человеком. Когда, проверяя самого себя, он задумывался над вопросом: кто для него самый приятный, самый близкий, самый очаровательный и дорогой человек, сердце ему подсказывало:

- Рашель!



